

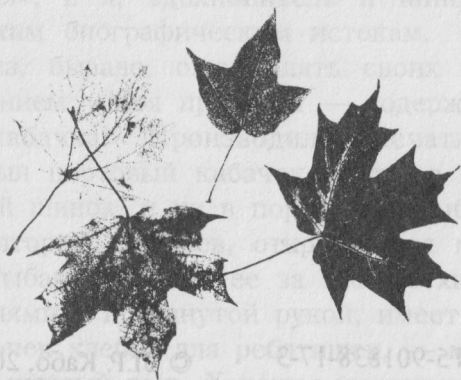
Любовь КАБО

Минувшее – у порога



Любовь КАБО

Минувшее — у порога



СПУК

Москва 2003

ББК 84(2 Рос-Рус)

К 12

Кабо Л. Р.
К 12 Минувшее — у порога. — М.: «КРУК-Престиж»,
2003. — 148 с.

ISBN 5-901838-17-3

© Л.Р. Кабо, 2003

© ООО Студия «КРУК-Престиж»,
оформление, оригинал-макет, 2003

I

В яркий бердянский полдень 1962 года теплоход, название которого история, к сожалению, не сохранила, мягко толкнулся в городской причал. Земля Неведомых Предков встретила путников рыдающими криками вполношенных чаек и запахом хорошо просмоленного каната. Путники сошли на берег, заранее улыбаясь всем возможным на этом берегу неожиданностям, — мой сын студент, догуливающий до армии последние месяцы, его сокурсница, лаконично представленная мне на днях: «А это Таня», и я, вдохновитель и инициатор путешествия к неким биографическим истокам.

Я очень любила, бывало, ошеломлять своих знакомых лихим признанием: «Моя прабабка — содержательница портового кабачка!» Производило впечатление. Никакой это не был портовый кабачок — то, о чем я говорила — бедный шинок, и не в порту, а в Рыбачьей слободе, шинок, который, овдовев, открыла моя многодетная прабабка. Рыбаки уважали ее за это: не хнычет, не висит над соседями с протянутой рукой, имеет бедолага так себе, кусочек хлеба для ребятишек, — может, без маслица, да на каждый день. Хорошая женщина: сама и подберет, если что уронишь, сама и в карман тебе запихнет, если не можешь ты найти тот карман. Надо будет в ту Рыбачью Слободу заглянуть...

А пока, оставив за спиной раскаленный причал, мы углубляемся в тенистые, прохладные улицы Бердянска. И почти сразу со мной начинает происходить что-то мистическое. Вижу, и именно там вижу, где ожидала увидеть, кирпичные стены гимназии, в которой учился

мой отец, и именно такими вижу, какими и ожидала — с фигурным карнизом под самую крышей. И синагогу узнаю, конечно, в которой отец, достигнув совершеннолетия, читал вслух Тору, как и полагается мальчику из почтенной, религиозной семьи, и узнаю весь этот длинный бульвар, и знаменитый бердянский маяк на высокой насыпи в перспективе бульвара. Господи, да вот же и он сам, папа, — идет навстречу нам к порту, не по возрасту близорукий, но дьявольски уверенный в себе юноша, почти подросток, с плетеной корзинкой в руках. Я уже знаю, что у него в корзинке, не заглядывала, а знаю: пара штопаного-перештопаного белья да толстенная книга «Помощь» — альманах, выпущенный российской интеллигенцией в помощь жителям южных губерний, пострадавшим от недорода. Взял этот том ради крошечного рассказа Короленко «Огни»; о том, чтобы просто вырвать этот рассказ, если так уж он ему душевно пришелся, начинающий книжник, мой юный отец, не допускал и мысли. Куда он собрался сейчас, — в белый свет, как в копеечку? Зайцем, на угольщике, совершающем регулярные рейсы в Одессу, в город, где кипят идеи, к которым он только-только сумел приобщиться, к людям, с которыми суждено побрататься, — потому что «все-таки, все-таки впереди огни!» Именно так: и романтично, и молодо, и, может быть, даже жертвенно. Его провожает женщина, которую я знаю по фотографии в семейном альбоме, — моя безвременно умершая бабушка, имя которой я ношу. На фотографии ей нет и сорока, но спокойно можно дать и шестьдесят, и больше. Глухое старинное платье с высокими плечами и низкой, перетянутой грудью, плоская прическа женщины, и не помышляющей о кокетстве. Надо очень пристально вглядываться в это крупное лицо, чтоб разглядеть в припухших глазах добрый и острый юмор, потаенную реакцию очень неглупого человека на мужской деспотизм и царя-

щую в доме грубость. Вот и сейчас идет она со старшеньким своим в порт, отчетливо понимая, чем придется расплатиться за тайный его уход, идет степенно, с достоинством, словно перечеркивая этим своим неторопливым шагом налет авантюризма и риска со всего, что он делает и, быть может, сделает впредь. «Никто, как Бог, помни, сыночек», — вот что скажет она ему на прощанье, скажет убежденно и истово, словно не его, словно себя заклиная. Торопливое, с оглядкой объятие — и все, затарахтит, отваливая от пристани, угольщик, и никого уже нет на низкой его палубе, а может, и есть, да не видно в густеющих сумерках, и только косо, полукрутом, бежит к берегу, что-то договаривая, волна. Встретятся ли они еще, мать и сын? Не знаю. Правда, не знаю; в свое время не успела спросить об этом, а сейчас уже и некого...

Однако надо устраиваться. Никто нас в сегодняшнем Бердянске не ждет. Хозяйка, к которой нас привели из квартирного бюро, Лидка Беляева, роль свою понимает по-своему: «Обувь — за порог. Деньги — на стол. Вы на сколько приехали? Хорошенькое дело, они не знают! А кто знает? Мне чтоб за две недели вперед. Постели? Какие еще постели? Ну, вообще...» Не дала, швырнула с сердцем одну простыню и одну детскую пеленку на троих, как хочешь, так и устраивайся!

В общем, я наутро сказала своим спутникам: идите, как и собирались, на пляж, встретимся тогда-то и там-то. Вернулась в квартирное бюро: устроили к какой-то хулиганке, пошли искать новую квартиру. Пошли.

И тут снова началась какая-то мистика. Приходим в квартиру на улице Горбенко. У старенькой хозяйки из каждого глаза по два черта выглядывают: «У меня тишина, у меня покой», — а за стеной комнатенки, которую она предлагает, молодежное общежитие человек на восемь.

Пошли дальше. Одна квартира, другая. И неплохие квартиры, между прочим. А меня словно какая-то сила тянет. Не выдерживаю: «Пошли назад, на Горбенко».

Ну, договорились с хозяйкой обо всем, сидим, беседуем. Думаю: чем черт не шутит!.. «Эсфирь Самойловна, — говорю, — знакома ли вам такая фамилия — Кабо?» Она даже вскинулась. Словно всю свою жизнь только и мечтала эту фамилию услышать: «О!..» Она, оказывается, с теми Кабо на одном дворе жила. «У самого Кабо, дамского портного, считайте, весь Бердянск шился, хороший был портной». — «А старшего сына его знаете?» — «Рафаила? Еще бы! Мы, девчонками, специально на митинги бегали его слушать... Он, чтобы вы знали, большим человеком стал, его правительство орденом Ленина наградило...»

Я как услышала про орден Ленина, так сразу и всему поверила: и в одном дворе жили, и на митинги бегала. Потому что дед мой был человек тщеславный, он именно так и должен был соседям рассказывать. Ему мало, что сын его самоучкой выбился в образованнейшие люди, был профессором, — он ему еще правительственный орден придумал. Не какой-нибудь — Ленина; делать — так делать по-большому!..

Но это же надо было — в мемориальной поездке вот так сразу же наткнуться: сколько их осталось в Бердянске, тех старожилов!.. Когда я привела на Горбенко своих ребят, Эсфирь Самойловна встретила их восторженно, чуть на шею не кинулась: «А мы с вами, считайте, родственники...» Ребята отнеслись просто: родственники так родственники, чего не случается!..

У Эсфири Самойловны мы, и в самом деле, зажили по-родственному, одной семьей, иначе она никак не соглашалась. К плите и не подпускала, дескать, мы, москвичи, сделаем все не так; синенькие, фаршированные перчики, бычки — упоительный приазовский харч!

А уж рассказы за ужином, под открытым небом! Рассказы у Эсфири Самойловны не иссякали, и в каждом простодушно прославлялись то сказочная удачливость рассказчицы, то ее оборотливость и практицизм. А однажды, после одного из таких рассказов, в котором о самой рассказчице и речи не было, мы, дождавшись утра, пригнали такси, сложили хозяйку вчетверо — сама она сесть в легковую машину не умела как-то — и повезли ее показывать дорогу в так называемую Мерникову балку, которую знали далеко не все бердянцы.

И вот — едем. Едем по дороге, небрежно вымощенной крупным булыжником, петляющей между голых, пустынных холмов. Странная дорога, дорога в никуда. Ни единого жилья, ни единого встречного путника, даже зелени нет по сторонам. Едешь по ней — и представляешь себе, как шли здесь сотни людей, спотыкаясь на неровных камнях, плача, если дарована была свыше горькая отрада слез, бормоча молитвы, если помнились те молитвы, пугливо озираясь на окрики и невольно ускоряя шаг, — покорно шли к неминуемой гибели. Восемьсот еврейских семей Бердянска. Шли, поддерживая своих стариков, несли испуганно притихших детей. Вот и дед мой шел, тот самый, портной, и семья деда, и дядя, и семья дяди, вся знакомая и незнакомая родня. Шли медленно, — и мы ехали медленно, чтоб не испугать, не потревожить их теней. Долго ехали. А потом вдруг выехали на широкий, поросший ковылем карниз, высоко висящий над морем; ярко-синее внизу, ярко-голубое вверху, и все это овеяно сильным, животворящим ветром. А сбоку, справа, словно зловещая рваная рана, глубокий черный провал, в который и заглянуть-то страшно, — та самая Мерникова балка. На краю ее людей расстреливали, в этот провал они валились.

Говорят, приехал сюда однажды крупный военный, поставил на самой середине площадки то ли гранитный,

то ли даже мраморный памятник «Евреям города Бердянска, расстрелянным фашистами». Посадил цветы, обнес памятник невысокой оградой, поклонился черному рву и уехал, — видимо, навсегда. Время тогда было хоть и послевоенное, но не очень простое. Местное начальство приказало памятник уничтожить, а вместо него поставить фанерную пирамидку. Вокруг, в непосредственной близости, лепечут детские сады, доносятся издали звуки пионерского горна, — играет у гробового входа младая жизнь, и ни единого знака доброй памяти, — недолговечная, без всякой надписи пирамидка.

Были мы и в городском краеведческом музее. Вошли в его прохладу — и замерли: прямо против двери — опять фотография из семейного альбома. Сильно увеличенная: «Первый комсомолец города Бердянска, расстрелянный белогвардейцами» — младший брат моего отца Эммануил Кабо. Прошли дальше — стенд: создатели городской социал-демократической организации. Среди других — он, папа. Даже неудобно рассказывать. Директор музея разволновался не на шутку: «Очень хорошо, что вы приехали, очень. Вы же сами видите: бедненький стенд. Что, ваша матушка еще жива? Может, она не откажет нам: воспоминания, документы...»

Она была еще жива, дорогое мое! Отправляя нас в путь, совершить который была уже не в силах, радовалась, как ребенок, уповала, главным образом, на мой фотоаппарат — хотела погулять по знакомым местам, и не только Бердянска, но и Таганрога — города ее детства и ранней юности.

И я уехала в Таганрог. Спутников своих оставила на месте, в Бердянске, — и они, и я понимали, что в иные минуты матери, даже обожаемой, не мешает обратиться в едва различимую на горизонте точку.

И вот — хожу по улицам Таганрога. Тоже — словно бы уже здесь была. Театр имени Чехова, библиотека

имени Чехова, квартира-музей, густо пахнувшая масляной краской, начисто уничтожающей все приметы человеческого жилья. Памятник Чехову работы Рукавишников — Антон Павлович сидит в удобном кресле, смотрит на улицу своего имени и, почти без постамента, то есть лицом к лицу, задушевно с тобой беседует, — если ты, конечно, расположен к этому.

Не хочется уходить, но у меня есть точный наказ: найти тот самый дом, с которым связана жизнь. В помощь выданы три координаты: аптека, базар, мужская гимназия. Что ж, играть так играть!..

Легче всего оказалось найти аптеку. Это я давно подозревала, что самые долговечные учреждения — именно аптеки. Работает, как и работала. Больше полувека, с ума сойти!.. Полки красного дерева, латинские надписи на белоснежном фарфоре. Таганрогская девочка была здесь в последний раз в 1905 году, — не тогда ли, когда казак полоснул юную демонстрантку нагайкой?..

Насчет базара я тоже сообразила: при входе в сквер, где я только что беседовала с Чеховым, стоят ровным полукругом строения, подозрительно напоминающие торговые ряды. Жители, населяющие эти строения и посещающие сейчас на солнышке, охотно подтвердили: да, да, мадам не ошибается — именно здесь, на месте сквера, был когда-то базар. Мужская гимназия? И зачем бы она могла сейчас понадобиться, как вы думаете? Пробегавший мимо мальчик приостановился, пережидая поднявшийся переполох, тихо тронул меня за рукав: «Тетья, говорят, что в нашей школе была мужская гимназия!..»

Конечно, вот он, этот дом, на углу — я вокруг него чуть не полдня хожу. Старый-престарый, с осыпавшейся штукатуркой, двухэтажный дом, ремонтировавшийся, видимо, еще при последних Романовых... Подошла к

нему поближе и невольно рассмеялась: в добром, приветливом городе, кажется, на единственном этом доме, точнее, на глухой калитке, ведущей во двор, надпись: «Осторожно, злая собака!» Может, вы собак и не боитесь, а я боюсь, на меня когда-то в городе Бресте, давно, еще до войны, собаку спускали...

Трусливо медлю, но движения никакого, ни туда, ни оттуда. Вхожу. Ни собаки, ни даже собачьего лая. Из глубины сильно заросшего двора, от флигеля, торопится немолодая женщина, обтирая передником мокрые руки. «Пожалуйста?» — выслушивает меня, как и все слушали, — с недоумением. Потом вдруг сразу и все понимает: «Девочки Губергриц, как же, Лёля и Руся! Я, конечно, маленькая тогда была!..»

Вот так. Как говорил поэт: «Воля и труд человека дивные дива творят». А потом я пошла в городскую библиотеку, не «имени Чехова», а в другую, центральную, и там, поднимая старые газетные подшивки, вовсе не ожидая что-то найти, а просто подышать воздухом тех лет, вновь наткнулась на ту же таганрогскую девочку: «Лучше всех работала среди фабричных работниц»...

И опять — множество фотографий в семейном альбоме. На толстом картоне с золотым обрезом. Целый гимназический выводок: белые переднички, чистые девичьи лбы, умные, внимательные глаза. А на обороте — по бледным фирменным знакам, по странным надписям: «Фотография его императорского величества негуса абиссинского» — при чем здесь абиссинский негус! — поверх всего этого, размашисто, бегло: «Славному товарищу по совместной борьбе», «Дорогому другу в память о том, что нас связывало и связывает...» Дыхание той самой России начала века, благополучный финиш путешествия в Страну Неведомых Предков.

Вот мы откуда, оказывается, — и я, и все мои сегодняшние, — не от мифической содержательницы

портового кабачка, умиряющей толпу перепившихся матросов, — а вот от этих мелких мещан Приазовья — торговали пуговицами, шили дамские костюмы, растили, как умели, детей, старались, чтоб дети были не хуже людей, чему-то обучены и сыты.

А дети подрастали — и уходили, отрясая с одежд своих убогое, предназначенное им бытие, уходили, подхваченные ветром первой русской революции, унося с собой в будущие скитанья, в тюрьмы и ссылки, и в более позднюю, советскую жизнь, вечный шорох морской волны и вкусный запах хорошо просмоленного каната.

II

Век мой, зверь мой. Кто посмеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?..

Осип Мандельштам

Они смели все, им все было впору, и не только же о двадцатом веке речь, стоит огород городить ради единственного столетия! Забившись на лодке в самую гущу камышей, затянувших устье реки Кальмиус, они, две девочки лет пятнадцати, судя по всему, гимназисточки из вполне благополучных семей, и мальчик, чуть постарше и чуть попроще, ведущий себя с ними с непринужденностью старого приятеля, — все трое слушали сейчас четвертого, очень некрасивого и очень близорукого юношу с прицельно внимательным, несмотря на эту его близорукость, взглядом. Это был приезжий из Ростова, наделенный полномочиями чрезвычайными: организовать здесь, у них (вот и до них, наконец, дока-тилось!) одну из ячеек Южнорусского Союза молодежи.

Юноша этот очень просто и доходчиво говорил им сейчас о конечных целях Союза и о том, кого надо привлекать туда и как привлекать, и как важна для них с первых же шагов конспирация, — уже столько ячеек распалось, не развернувшись, только потому, что не сумели эту конспирацию до конца соблюсти.

Слушатели нетерпеливо переглядывались: ждали, что речь пойдет о массовых выступлениях и митингах или об эффектных эксах, слух о которых доходил даже до их богом забытых мест, а тут — то, о чем и говорить бы не стоило, толчение воды в ступе, пропаганда! Эдак вся жизнь пройдет! Что-то в этом роде они и высказали приезжему. Рафаил (так он им представился) со вкусом рассмеялся. Аудитория ему явно нравилась, особенно одна из девочек, Лёля Губергриц, с ее милым и серьезным личиком. Именно она за него, в конце концов, и вступилась: «Зато конкретное дело, правда, Фоля? А то всё говорим, говорим...» Так вот дружески, просто: «Фоля», — как подумала, так и сказала. Прелестная девочка!..

А в общем, делу время, а потехе час. Рафаил выкатил на середину лодки арбуз — то ли для этой самой конспирации его прихватил (выехали четверо молодых людей на увеселительную прогулку, а что?), то ли просто так, случился в лодке арбуз! Куда там делась их серьезность!.. Арбуз поглощался вдохновенно, с хохотом и шутками, и больше всего доставалось приезжему, потому что человечество в массе своей неблагодарно, и, выслушав от Рафаила только что речь о высочайшей своей миссии — стать могильщиками одной из самых мощных империй мира, — оно, это человечество, вовсе не собиралось воздвигать оратору за это памятник!.. Впрочем, Рафаил был так же прост и молод, как они, да и чувством юмора наделен был немалым, так что и нападающей стороне перепало. А уж хохотал, кстати, —

загляденье, — куда делась солидность товарища с полномочиями!..

Ну, а потом пришлось парням разуваться, подкатывать брюки — раскачивать и выволакивать глубоко осевшую лодку. Какое же веселье вспыхнуло вновь, когда они ее, наконец, двинули, — очень уж велик оказался контраст между разговором о строжайшей конспирации и тем неистовым шумом, который подняли, треща и ломаясь, не на шутку взбунтовавшиеся камыши.

А потом они шли под бледнеющим небом по спящему городу, и где-то далеко, на окраине, уже завели свою предрассветную перекличку петухи, и невольно возникло, — кто-то задумчиво начал, кто-то подхватил:

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси...

Вот так он и завершился, этот удивительный день — день знакомства самых близких мне людей — моего отца и моей матери, «день начала нашей дружбы 3 августа 1903 года», как упоминает о нем в своих записках отец. «Ты так мечтал, Рафаил, чтоб я написала об этом дне, — обращается к отцу мама много лет спустя, уже после его кончины в 1957 году. — Вот — пишу, и пусть этот рассказ станет цветком на твою могилу». Рассказ так и называется «Цветок на могилу». Я сейчас только то и сделала, что своими словами его пересказала.

Бедные вы мои!.. Бедные мы все: нам не обмануть времени. Оно проносится мимо нас стремительно, оставляя после себя только заросшие быльем пустыри. Нашим юным современникам уже сейчас Отечественная война кажется едва ли не древнее Троянской. Кто услышит эти юные, чистые голоса людей, мечтавших когда-

то давно, в начале века, об общечеловеческом счастье?..

Об этом прекрасно написал в свое время Герцен — о заросших быльем пустырях, — и это в своем неторопливом, исполненном духовного величия девятнадцатом веке! Что сказал бы он сейчас, в двадцать первом, если десятилетия проносятся мимо нас, как гремящие на стыках порожняки, и все ускоряют, ускоряют ход, — что должно остаться в человеческих душах после этого грохота?

От моих родителей сохранился громадный архив. Эти двое дня не могли прожить, чтоб не поделиться тем, что этот день для каждого из них значил. Разлук же судьба уготовила им множество: то отца сажают в одну тюрьму, то в другую, то вообще высылают на реку Пинегу, и мама, несмотря на его протесты, устремляется туда же, к нему, и ссылка оборачивается покоем и счастьем, а потом мама вынуждена снова оставить его, потому что некому сопроводить высланную в Сибирь сердечницу-сестру. И ведь есть еще месяцы самые, быть может, тяжелые, когда приходится сидеть в родном Таганроге на грошовых уроках, потому что нет даже мизерных денег на далекий путь, — и все это в молодой, не на шутку разбуженной страсти и в нежности, не утоляемой бессильными словами. А потом, уже в самый разгар революции, явится на свет полудохленькое дитя, и, чтобы оно все-таки выжило, надо немедленно вывезти его из голодной, одичавшей от разрухи столицы на козье молоко и какую-никакую травку. Кто это должен делать? Конечно, мама!..

Судя по тому, сколько интерьеров сменилось вокруг меня, сначала едва ползающей, потом кое-как ходящей, а потом, слава богу, и бегающей, мероприятие это оказалось гораздо более затяжным, чем казалось вначале. Помню, как сижу я у мамы на коленях, закутанная в мамин платок, и мама рассказывает мне о крошечном

мужичке, таком смешном, с ноготок, или об аленьком цветочке, который уничтожила внезапно налетевшая буря. Рассказывает, а сама все смотрит, смотрит неотрывно в окно, за которым темнеют фигуры местных жителей, припозднившихся в Москве, а теперь торопящихся от станции по своим домам. Что могла я тогда понять в материнских предчувствиях и тревогах?..

Когда-то, миллион лет назад, мне уже приходилось вторгаться в родительскую переписку. Я писала главную мою, как мне тогда казалось, книгу «Ровесники Октября», и мне был очень важен процесс, сопровождавший отрочество мое и моих сверстников, — то, как молодая советская власть отлучала законное свое достояние, детей, рожденных после Октября, «государственных детей», как называла юных пионеров Крупская, — отлучала их по мере возможности от семей. Потому что — что могли они получить в своих семьях, кроме окаянного наследия старого мира? А уж особенно в семьях интеллигентных! «Гнилая интеллигенция» — иначе, чем с эпитетом «гнилая», это слово тогда и не употреблялось!..

Тяжелая это была работа (имею в виду разборку и чтение родительского архива): полустершийся от времени простой карандаш, два неразборчивых почерка, старая орфография в крошащихся дореволюционных письмах. Папа с его методичностью хотя бы нумеровал свои письма и ставил числа, мама в душевной своей сосредоточенности этим рассеянно пренебрегала. К тому же и писала она частенько (как я понимала, черновики) поперек всевозможной цифири, на статистических таблицах. Мама, как я уже писала в свое время, статистиком была убежденным, — она считала, что только честная цифирь может подтвердить (или, наоборот, опровергнуть), что социалистическое государство и впрямь выполняет все то, что написано на его развевающихся знаменах.

На этот раз я проявила упорство большее, да и задачи ставила перед собой иные, — и мужественно вторглась в то, что считала отработанными черновиками. «Рафаил, не трудись напрасно, — явственно проступило вдруг передо мной сквозь клинопись статистической таблицы. — Прежнего между нами нет и больше никогда не будет...» Меня как по голове ударило. Я твердо знала, что между моими родителями ничего иного быть не может, кроме взаимного понимания и любви.

В отчаянье я кинулась за помощью к отцу. «Моя личная жизнь, — писал он тогда же в своем дневнике, — она какая-то запутанная. Когда я раскручу этот узел противоречий? Любовь — и ненависть, нежность — и каменная холодность. А рядом Люба, этот прелестный болезненный цветок, у которой все шире раскрываются глазенки на мир — и на нас в том числе!..» Здравствуй-те, еще и я тут при чем-то со своими «раскрывающимися глазенками»!..

Мама как-то пыталась все происходящее между ними объяснить и себе, и, прежде всего, отцу: «...Война, революция, рождение Любы, разруха, вихри над головою, вихри в сердцах...» Она что — обвиняет его, оправдывает?.. «Стыдно вспомнить все те грубости, которые ты мне говорил, стыдно вспомнить пошлости, которыми я тебе отвечала...» Ничего не понимаю. Папа — грубости? Сколько угодно. Мама — пошлости? Никогда! Почему же она торопится разделить вину за разрыв — потому что все это почти явный разрыв, — торопится разделить вину поровну, подставить и свои хрупкие плечи? Не все та же ли это гимназисточка с реки Кальмиус: «Фоля, правда?..» Для других он уже тогда был матерый конспиратор, опытный пропагандист, а она, совсем девочка, сразу почувствовала в нем недоласканного всей его бездомной жизнью, уязвимого и, в сущности, очень

одинокого человека. «Дорогой мой друг! — пишет она сейчас все на тех же таблицах. — Не ищи путей назад, их нет и быть не может. Но в день твоего рождения я хочу сказать тебе главное: Рафаил, ты достоин большого счастья. Бери его таким, как ты его понимаешь. Как сестра, как старый и верный друг, благословляю тебя на это...»

Что между ними встало — другая женщина? Может быть. А может быть, и хуже, безответственной, мельче, о чем не только писать, но и думать не хочется? Может, это сама долгожданная их революция явила непредсказуемое свое лицо? Революция ведь все рушит вокруг себя, смещает все акценты — неважное и поверхностное начинает казаться глубоко значимым, большое и значительное — уже изжитым и зряшным; она сбивает с толку любящих, разрушает семьи, заставляет искать конечный свой смысл там, где его нет и быть не может. Воистину «вихри над головой, вихри в сердце»... «Ты перепутал двух евангельских сестер, Рафаил! Где, когда, в какой злополучный день ты решил, что я рядом с тобой — суетная Марфа, на которую, в конце концов, можно и раздражиться. И ты раздражаешься на меня все бессмысленнее день ото дня, все постыдней. Между тем, я по природе созерцатель, мне сейчас всего важнее понять то громадное, что вокруг происходит. Прости меня, но такой, как сейчас, ты мне только мешаешь...»

И тут я вынуждена кое-что добавить. Яростный, целеустремленный человек, мой отец, способный любого оппонента сразить безупречным интеллектом и неотразимой логикой, — и скромная, легко отступающая в тень моя мать. Вся сотканная из любви и, прежде всего, из любви к нему, вся нацеленная на молчаливое понимание с полуслова. С какой заведомой обреченностью взорвалась в ней оскорбленность и незаурядная душевная сила: «Такой, как сейчас, ты мне только мешаешь!..»

Отец заметался. Личная свобода — да, конечно, но ведь не от Лёли же! Абсолютная ясность во всем — безусловно, — но не прежде же, чем каждая мелочь будет оговорена с его лучшим советчиком и другом! А лучший советчик и друг пишет: «Ни договоров, ни каких бы то ни было соглашений между нами, Рафаил, не жди, не будет...»

Отец работал в КУТВе*, там была наша квартира. Но с первых же месяцев революции отец заинтересовался новыми веяниями в педагогике и лекции в Коммунистическом университете совмещал с работой в опытно-показательной школе-коммуне на Остоженке, сокращенно МОПШК, где взрослые не по возрасту, вечно голодные, но неотразимые в своем молодом энтузиазме юноши и девушки не только постигали азы наук, но и закладывали основы совместного, еще никем всерьез не опробованного социалистического быта. Кто в ту пору всерьез представлял себе истинные параметры подобного быта, и не в этом ли, в конце концов, все дело? Как и у других воспитателей, у отца там была своя комната, какое-то время мы там жили все вместе, потом мы с мамой почему-то переехали обратно в КУТВ: «Мы тут папе мешаем...»

Отец, повторяю, заметался. Он зачастил в КУТВ в часы, когда мамы заведомо не могло не быть, — вечерами. Мамы не было. Он ждал час, другой, — она не приходила. «Вы не знаете, будет ли она завтра?» — спрашивал он у нашей домработницы Нюши. Та отвечала классическим: «А куда ей деться?..» На следующий день ее не было снова. Бедного отца болезненно задевал даже рассеянный взгляд заигравшегося ребенка: «А, папа...» Никому он что-то здесь не был нужен!..

* Коммунистический университет трудящихся Востока

Догадывался ли он, где была мама? Ходила по улицам. Это я сама догадалась: больше ей деться было некуда. Замерзала, заходила погреться на почтамт, в аптеки, в фойе кинотеатров. Лишь бы не объясняться, не говорить ни о чем!.. Очень страшная вещь слово: оно материализуется — раньше, чем произнесено, а будучи произнесено, требует немедленных действий. Не нужно ей было ничего — ни слов, ни действий: будь что будет! Чем не Кутузов: «Терпение и время — вот мои воины-богатыри...» Счет она вела при этом не на недели, не на месяцы, — быть может, на годы.

Однажды среди таблиц я нашла и такую запись. «Дорогой мой друг! — писала мама. — Жить без тебя я не могу, это мне ясно. Но и с таким, как ты сейчас, я тоже жить не могу и не хочу, умереть легче. Что же мне делать? Так не хочется умирать. Так не хочется...»

Не мог он не ответить на такое письмо! На такое — не мог! Перерываю все. Ищу ответ — нет ответа!.. И опять догадка, и опять — такое ощущение достоверности, будто она сама мне об этом сказала: не показывала она ему подобных писем!.. Писала, изливала душу и прятала в статистические таблицы, как в надежный сейф: боялась жалости, боялась малодушных решений. «...Твой певучий голос, Фоленька, твоя хорошость...»

Иногда бывало и другое, словно луч солнца проглядывал, — ведь счет, повторяю, шел не на месяцы, на годы. Плоток свежего воздуха: живите, люди! Запись из папиного дневника: «Десять дней провел у Лёли. Пролетели, как сон. Все время прожил в полном покое, в атмосфере любви и дружбы...» Ну, и что помешало тебе остаться, неразумное чудовище, мой отец, — честность? Перед кем честность, почему, что там было, за твоими плечами?.. Или — отрывок из папиного письма. Он в Воскресенске, со мною, мама, видимо, отдыхает, судя по тому, как он умоляет ее не тревожиться, не торо-

питься. «...Зато мы дружим с Любой. Сегодня пошли вместе гулять. Я ей говорил о маме, о том, как я люблю ее. А она мне — увы! — о мальчишке Андрюше, о котором она, видите ли, скучает...» И — самый конец письма: «...Я произношу твое имя, и теплая волна счастья пробегает к самому моему сердцу. Милое мое, бесконечно любимое дитяtko! Подумай о своем нескладном друге. Научи его, как построить свое счастье, когда даны, казалось бы, все его элементы. Помни его, учи, но прежде всего люби и, если можешь, прости...»

Я сама женщина. Я жду естественного ответа — торопливо рвущейся навстречу любви. Как бы не так — нет ответа! Ну, дорогие мои родители, измучили вы меня!..

И вдруг обвал. Лавина папиных писем, полных отчаянья: «Так мучить тебя!..» «...Готов ползти к тебе на коленях, целовать края твоей одежды...» «...Каким сокровищем я обладал и, клянусь, не умел по-настоящему его оценить!..»

Что, собственно, случилось? Нормальный закон перехода какого-то там количества в новое качество? Разговор, о котором не сохранилось никаких свидетельств? Поверила, открылась — со всеми своими прогулками и таблицами? Не знаю. «Как хорошо ты это сказала: возврата к прежнему нет и быть не может — помни, Рафаил!.. Но построить новую жизнь, без измен и компромиссов — на это у меня сил хватит, ручаюсь тебе...»

А дальше что будет? Та самая семья, которой я, выкормыш этой самой интеллигенции, привыкла всю свою жизнь гордиться. Весь тот дух открытости миру и растворенности в нем, и какой-то неподдельной, органической простоты. И маминой (прежде всего маминой) мудрости, и маминого юмора, и такой ощутимой всеми нами молчаливой стойкости ее перед лицом испытаний.

III

Пока же — немножко плагиата: «...Счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминания о ней?..»

...Просыпаешься от воскресного благовеста и сразу же кидаешься к окну. Властно гудит колокол Страстного монастыря, у стен которого мы живем, суетливо вторит ему колоколенка в Путинках, солидно, с достоинством отзывается колоколья Петровского монастыря, куполом которой я постоянно люблюсь: золотые звезды по синему фону. Внизу, под нашими окнами, шелестит густая листва Нарышкинского сквера, а чуть правее, вдоль стены Страстного, словно прикрывая монастырь с юга, тянется к Тверской аллея бульвара, который так и называется «Страстной», бульвара людного, оживленного, — здесь и фотограф с туго натянутым холстом, на котором изображены замок и лебеди, и китайцы предлагают пестрые веера и бумажные мячики на резинке, да и мало ли еще чего только нет! А совсем далеко, где-то за Петровскими воротами и чуть левее, за Самотекой, плывет в окне нашей квартиры размытая, как мираж, таинственная Сухарева башня, — что-то вроде конца света: море и три кита...

Мы живем в большом четырехэтажном доме со странным названием «КУТВ», — я уже писала об этом — здесь мой отец учит трудящихся Востока всяким общественным наукам. Может, он и самого Мао Цзе-дуна учил, — не догадалась спросить в свое время, и Ким Ир Сена, и Чойбалсана, — кого там еще? Впрочем, мы, местная ребятня, всем этим не интересовались, — едва смели поднять глаза, пробегая через студенческую столовую в расположенный там же, в полуподвале, наш детский сад. В детском саду уже поджидал меня мой личный супостат Минька Бобылев. Когда нас в конце

дня распускали, супостат Минька исхитрялся выскочить первым и встретить меня у дверей своей квартиры ритуальным, то есть совершенно бессмысленным вопросом: «И куда же это ты идешь?» Я в ответ неизменно пугалась, а если была особая охота, то и немножечко хныкала (ритуал есть ритуал!), и опрометью кидалась с его третьего этажа на свой четвертый. Помню, как некто Гринька, человек благородный, однажды изловчился перехватить Бобылева на старте и, прижав его к полу, истошно кричал мне: «Беги скорейча домой, а то он, зараза, бьется!..» Приятная все-таки вещь: первое в жизни мужское заступничество!..

Уже взрослым человеком я частенько бывала в издательстве «Советский писатель», расположенном одно время в Большом Гнезниковском переулке, в громадном доме под самую крышей. Однажды в очереди на лифт меня осенило, что я и лифт этот знаю, и дом знаю: во времена моего детства это был самый высокий в Москве дом с рестораном под самую крышей, рестораном, который, кажется, так и назывался без затей «Крыша» и популярен был той панорамой, которая с этой самой крыши открывалась на небольшую по тем временам, зеленую и уютную Москву. Вот он, наш КУТВ, отсюда рукой подать, вот еще один дом, вклинившийся между нами и монастырскими стенами, — просили его! — вот ничем не примечательный монастырский двор и сам собор, развернутый фасадом вдоль неширокой, мощеной булыжником Тверской. А вот и главное чудо наших мест — Пушкин! Он стоит в самом начале Тверского бульвара, улицу перебежать, стоит, сняв шляпу и склонив кудрявую голову, словно готовясь смиренно ступить под монастырские своды. Любимейшее место детских игр: наш Пушкин! Чуть скошенные гранитные ступени памятника измусорены сухим песком от вечных ребячьих куличиков, а земля вокруг исхлестана прыгал-

ками и исчерчена «классиками» и прочей ерундой, по которой по-хозяйски прогуливаются сытые, непуганые голуби.

А наискосок от Пушкина, на углу Страстной площади, на одной из крыш, стоит, выгнув спину и высоко задрав хвост, громадная черная кошка, которую почему-то зовут «Ша-нуар», — так написано под нею. Однажды папа повел меня в этот самый «Ша-нуар», чтоб показать мне сказку Андерсена «Дикие лебеди», и сначала все было хорошо, совсем как у Андерсена: сидела хорошенькая девочка Эльза, а вокруг нее стояли двенадцать ее братьев, все в черных бархатных костюмчиках, настоящие принцы! И вдруг... О господи, и вдруг!.. Вдруг все они двинулись и пошли — шуточки!.. Ну почему же никто не предупредил, не сказал ни слова! Двинулись и пошли — пустяки, да? Я вцепилась в папин рукав и не закричала во весь голос только из природной застенчивости. Впрочем, папа тоже был хорош, заступник: сидел, посмеивался.

Сколько же после этого смотрели мы с ним разных кинокартин! И блистательного Дугласа Фербенкса в его «Багдадском воре», и нескладеху-очкарика Гарольда Ллойда, и главную любовь моего детства, чудо-ребенка, как его называли, Джекки Кугана в его неизменных панталонах на вырост и сдвинутом на затылок огромном картузе; сколько слез было пролито над его «Маленьким оборвышем» и «Оливером Твистом»! Даже папа однажды протирап очки, — я видела! — а ведь взрослый!..

С бесконечной нежностью думаю об отце. С бесконечной! Прекрасный педагог, а там и профессор, внушающий уважительный трепет любой аудитории, в которую ни заносила бы его судьба, — не возмещал ли он в этом нашем общении скудость своего убогого провинциального детства? Да и было ли оно у него? Я уже

писала о том, как не по возрасту близорукий и не по возрасту начитанный подросток сбежал тайком из дома ради превратностей революционной борьбы и подполья. Всем обязанный самому себе — своей разносторонней образованностью, бог весть когда приобретенной, широтой своих взглядов, профессионализмом, — когда там было у него время бездельно шляться по улицам и глазеть по сторонам? Чем мы с ним были заняты, если честно? Именно этим! Словно сам Господь послал ему такую доверчивую и на все согласную дуру!..

Никакого этого девчоночьего «за ручку» папа терпеть не мог, и я едва поспевала вприпрыжку за его крупным не по-прогулочному шагом, больше всего боясь, что вот сейчас он прилипнет к распяленной на стене газете, в которой и картинок-то нет, или склонится вдруг над случайным книжным развалом, поднося поближе к очкам и к крупному, откровенно еврейскому носу самые, на мой взгляд, незавидные, зачитанные книжки. Тут ведь главное — не приставать, не канючить. С папой, положим, не шибко и поканючишь! И какие же чудеса раскидывала перед нами хоженная-перехоженная Тверская!.. То, как таинственная, наполненная сокровищами пещера Али-Бабы, развернется перед нами витрина Елисеевского магазина, многоцветная, потаенно мерцающая множеством этикеток, так и манящая не стоять дураками снаружи, а зайти, забраться вглубь, разглядеть подробно самые дальние уголки. Очень, в общем-то, надо, — так мы с папой решаем!.. То вдруг искушение посильнее — обдаст немыслимым ароматом из распахнутых дверей булочной Филиппова («Идем дальше?» «Идем дальше!»). А дальше — высеченная из гранита женщина с обнаженной грудью и поднятой зачем-то рукой, — она олицетворяет то ли свободу, то ли революцию, то ли то и другое вместе. На другой стороне улицы, чуть пониже, одна над другой огромные буквы «КОТИ», — никог-



Р. М. Кабо с дочерью

«...С бесконечной нежностью думаю об отце...»

да не умела понять, что они, собственно, значат. Зато в Столешниковом переулке, если круто свернуть туда, ждет меня мой старый знакомец дядя Ваня. Это на вывеске написано «Дядя Ваня». Сидя, словно в лодке, в огромной детской сандалиии, он отважно пробирается через встающие горой, бушующие океанские волны.

А если добраться до Охотного ряда, сколько там чудес! Множество мясников, похожих на людоедов из всех сказок сразу, не обращая на нас никакого внимания, делают, как им и полагается, свое злодейское дело. Тут лучше проходить быстро, ни во что ни в коем случае не вглядываясь, — а то, того гляди, мелькнет в глазах слепая коровья голова на прилавке или, того страшней, настоящий, залитый кровью людоедский фартук. А то вдруг окружит тебя колоннада вывешенных вплотную одна к другой огромных, беломраморных рыбин, — таких рыб и на свете-то нет! А то, заглядевшись, чуть не наступаешь с ходу на пирамидку мирно дремлющих, хвостик к хвостику, пятачок к пятачку, розовых поросят, — вот кого жалко до смерти! Кто, когда в состоянии поглотить такое количество еды! Не москвичи, а какие-то обжоры несчастные!.. И все это пронизано трелью милицейских свистков, криками зазывал или — вдруг! — таким лихим, разбойным посвистом, что даже папа — ага, испугался! — поспешно хватает меня за руку. Это лихачи, с трудом сдерживая одичавших своих рысаков, отважно врезаются в беспорядочно копошащуюся толпу. А когда мы выбираемся из самой гущи, оказывается, что мой небожитель папа не устоял перед запахом обыкновенного копченого сига, напомнившего ему родной Бердянск. Человек он демократичный, поэтому и я получаю возможность (слабость так уж слабость) проникнуть на обратном пути в благоуханное нутро булочной Филиппова и выпросить то, что мне понравится, к семейному чаю.

Время от времени мне представляется еще одна радость, но уже с мамой и всегда неожиданно: мама нанимает — не рысака, конечно, на рысках наша семья не раскатывает, — но обыкновенного, подремывающего на перекрестке Ваньку, и мы с ней едем в сверкающий дворец, именуемый Сандуны. Тут, к сожалению, сначала приходится кое-что претерпеть: чужая тетка кидается на тебя, как на долгожданную добычу, тискает, мнет, словно ты кусок теста, а не всеми уважаемый человек, дергает за волосы, напускает мыла в глаза, тащит тебя под душ, когда все стоящие люди проходят к бассейну, и, наконец, последнее унижение — платок, узел которого ты тут же незаметно распускаешь, — и вот ты валяжно разваливаешься в пролетке, и знакомые улицы кажутся тебе отсюда, сверху, незнакомыми вовсе, и ты ощущаешь себя то ли столбовою дворянкой, то ли царицей, то ли даже владычицей морскою...

Но главное удовольствие и главное мучение моих детских лет — это семейное посещение Большого театра. Мы там пересмотрели, кажется, все постановки — и «Князя Игоря», и «Садко», и «Руслана», и «Майскую ночь», и «Снегурочку», и, конечно, «Сказку о царе Салтане». Глубинное мучение мое начиналось не сразу: увертюру я еще как-то терпела. Но вот, при заключительных аккордах ее, бесшумно раздвигался тяжелый занавес, и перед тобой представало вдруг или подводное царство, или зимний лес в торжественном своем убранстве, или городская площадь, залитая праздничной толпой, или еще что-нибудь, чего ты заранее предположить не могла, и все это в сопровождении музыки и голосов, то есть красоты невыносимой, и ты, всем телом извиваясь на плотном сидении, твердо знала одно: все, пропала!.. Теперь следовало все усилия бросить на то, чтоб как-нибудь дотерпеть до антракта. Как только в зале зажегся свет, я, не сказав никому ни слова, опрометью

бросалась в фойе, толкая никуда не торопящихся людей, протискивалась между задами и животами, цеплялась, притормаживая, за чьи-то карманы и дамские сумочки, — к единственной вожделенной двери с лаконичной надписью «Ж». И так — от одного антракта до другого, бедный ребенок — сколько действий в спектакле, столько и скрытых от человечества мук. Как родители меня терпели!.. В цирк, например, меня взяли только однажды, когда мне исполнилось ровно пять лет, — после этого о цирке дома и разговора больше не возникало.

А какое упоение детские болезни! Вокруг озабоченно говорят «гланды» или «инфлюэнца» (очень красивое слово, хоть любимую куклу называй). А ты лежишь в родительской постели, сделав из одеяла или индейский вигвам, — чтоб не лезли! — или невидимую в тропических зарослях пещеру, и смотришь всякие чудеса в тяжелых папиных книгах с золотым обрезом: землетрясения, наводнения, северные сияния и множество очень некрасивых людей с проткнутыми носами и голыми грудями, свисающими чуть ли не до колен. А в столовой в это время хлопочет бабушка, которая обычно с нами не живет, но специально приехала из Лосинки, чтоб сварить Любочке (Любочка — это я) какой-то очень целительный шоколад, на котором в свое время выросла Лёличка, т. е. моя мама, и тетя Руся, и дядя Сеня.

И все было бы хорошо — все хорошо! — если б не педагогическое убеждение моих родителей, что ребенок перед сном, хочет он или не хочет, должен непременно подышать свежим воздухом.

Ребенок — не хотел. Что он мог по неопытности ответить, — что он не любит буржуев? А кто их любит?..

Между тем, на вечерних улицах торжествовал НЭП — не дневной, куда-то, как и все, торопящийся, смиренный и законопослушный, но по-вечернему разгулявшийся-

ся, напористый и наглый. Мужчины в дорогих перстнях выводили под руку густо накрашенных дам в каракулевых мантиях и фетровых, неуклюжих, как ведра, ботах. Проститутки занимали свои заранее откупленные места (я и слова-то такого «проститутка» не знала! «Какие-то женщины!»). Шныряли в толпе подозрительные хмыри с липучими глазами. Ну, что я знала, что могла сказать обо всем этом? Что однажды один такой хмырь поволок было меня в сторону со словами: «Пойдем, девочка, что я тебе покажу...» Да я скорее зарезать бы себя дала, чем сказала бы об этом родителям хоть слово! Я молча и мужественно отбивалась, пока что-то его не спугнуло, наверное, упрямое мое пыхтение. Господи, как это все роится вокруг самого благополучного детства, как висит на слуху, облепляет сознание, — взрослым людям почти уже невозможно вспомнить, а что они, собственно, думали — тогда, в том зачарованном, запретном далеке?

А у нас дома, между тем, назревало и назрело, наконец, огромное событие: у меня родился братик. Он лежит в маленькой кроватке, специально для этого купленной, и мы трое стоим над ним и доброжелательно его рассматриваем. Впрочем, он не обращает на нас внимания, у него какая-то своя очень активная жизнь: он непрерывно прыгает прямо на спинке, и крошечные, смуглые его кулачки с силой отталкивают от себя все, что мог бы предложить ему окружающий мир. «Как мы его назовем? — спрашивает меня папа. — Давай, Володей?»

Я понимаю: год назад умер Ленин, а Ленин — вождь. Когда мы, ребята, играем в прятки, мною всегда овладевает беспричинный смех, — еще одна проблема моего детства, — и меня поэтому сразу же находят. И я начинаю вспоминать что-нибудь печальное, чтоб не смеяться, и вот уже год упрямо бормочу: «А Ленин умер!

Ленин умер!» Я, наверное, ненормальная какая-то — смеюсь все равно. Но сейчас не прятки, сейчас дело серьезное: Ленин умер, и он — вождь. Сколько сверстников моего брата (да и моих тоже: в семнадцатом году, когда родилась я, имя Ленина уже значило многое), сколько российских ребятишек вовсе не случайно получило это имя — «Владимир».

Так ведь это я уже учусь в школе, товарищи! Это мне уже восемь лет. И учусь я, товарищи, уже не в нулевочке даже, а в первом классе. И на первом же уроке наша учительница Августа Ильинична вызывает меня к доске и просит рассказать, какой у меня братец, и нравится ли он мне, и как мы его назвали. Я отвечаю добросовестно, но принужденно, не очень понимая, зачем мне столько внимания, — ведь не я же его родила!.. Впрочем, педагогика, как я уже писала об этом, вообще вещь загадочная.

А в общем, и о школе, и об институте мне еще предстоит писать ниже, совсем в другой связи — в связи с книгой «Ровесники Октября», о которой я непременно расскажу, потому что считаю в своей работе главной. А пока делаю крупный шаг, настолько крупный, что взламываю тогдашние границы Советского Союза и перехожу к своей так называемой самостоятельной жизни.

IV

Сороковой год, Бессарабия. Не так, точнее: Бессарабия, освобожденная нами от румынского ига. Мы ведь только так и воспринимали это: освобожденная — нами — от румынского ига!.. Повторяю: сороковой год, не сегодняшний день. Автор этих строк не девятый десяток лет со скрипом разменивает, но только-только отметил второй, не больше, заряжен собственным без-